

Ответ на реплику

На всю длинную реплику моего старого друга (и бывшего коллеги по домашнему семинару Ивана Дмитриевича Рожанского), талантливого русского философа Анатолия Валериановича Ахутина, ответить невозможно. Да и нет надобности.

Моя статья имела вполне конкретную мишень: порочную методологию западной (и не только западной) историко-философской филологической критики при сборе и издании фрагментарных текстов античных философов, в частности Гераклита. А работу А. Ахутина, вынужденного, как я думал и как он сам намекал, вследствие этого отказаться от всякой филологии и возводить свою 200-страничную реконструкцию логоса Эфесца на весьма шатком текстуальном фундаменте, я привлек не с целью подвергнуть его критике, а лишь как пример пагубного воздействия этой порочной практики на работу философов. Основной этот пафос моей статьи А. Ахутин воспринял более или менее адекватно (см. второй абзац его реплики).

Однако его, видимо, задели мои замечания о ненадежности тех выводов, в основу которых положены несовершенные чтения гераклитовых фрагментов и далеко не полное использование всего наличного корпуса текстов, его и о нем. Поскольку против этого ему трудно было что-либо возразить, а атака — лучший способ обороны (я же имел неосторожность высказать ряд слабо аргументированных попутных соображений о месте и роли филологии в истории античной философии, противоречащих, как выяснилось, основной концепции ахутинской монографии), А. Ахутин счел себя обязанным ответить и по этой теме, которой я вовсе не касался, а именно по теме противоречия между философией как таковой («общением любомудров») и историей философии («архивом недо-разумений») и попутно изложить свое понимание всей этой проблематики. Если воспринимать весь этот ликбез всерьез, остается только разучиться пользоваться словами и их значениями (как та сороконожка, что разучилась ходить, когда ее озадачили вопросом о порядке, в котором она передвигает ножки). Получилось по поговорке *в огороде бузина* (моя критика филологии), *а в Киеве дядька* (направленная против меня ахутинская критика традиционной филологической же истории философии).

Тем не менее я не могу не возразить (это уже относится к *дядьке*) против общей резко антифилологической и антиисторической направленности этой его концепции. Согласно Ахутину, всякая философия, и в первую голову античная, есть озадаченность мыслителя загадкой начала или начал бытия. Речь идет о предельной, единой, всеобщей, всевременной (внеисторической) энигме-загадке бытия, размышление о началах которой в любую эпоху и делает философа философом и которая усвояема только изнутри, т. е. понятна и доступна только другому, ею же озадаченному, мыслителю, и остается, по-видимому, тайной за семью печатями для любого профана. А филология, занимающаяся философскими текстами, и особенно филология, состоящая как раз из таких вот профанов-многознаек нефилософов, как я, но тем не менее строящая на основе этих текстов историю философии, превращает тем самым индивидуальные воззрения-прозрения великих мыслителей прошлого в пошлую и скучную бессодержательную доксографию, в перечень-музей пройденных этапов, устаревших и опровергнутых систем, теорий и мнений. Отсюда принципиальный отказ А. Ахутина от какого-либо историко-философского филологического подхода и его установка на ничем не опосредованное (хоть и учебное) общение с греческими началами *современной* философии, т. е. с самими мыслителями прошлого.

И тут опять волей-неволей вспоминается народная (хотя и несколько грубоватая, но все же) мудрость: *не плюй в колодезь, из которого пьешь*. Откуда А. Ахутин, к тому же при его достаточно ограниченном владении языками, включая древнегреческий, знает о философии, если не из историй философии? Как ему удастся читать сочинения философов, не используя изданий, подготовленных и/или переведенных филологами? Откуда А. Ахутин знает об античных философах, если не из изданий и переводов филологов-классиков? Откуда ему знаком Гераклит, если не из (несовершенных) собраний фрагментов Дильса — Кранца, Марковича, Кана и прочих нефилософов, из переводов Маковельского, Дынника, Муравьева, Лебедева? Как именно он с этими своими источниками будет обращаться далее — это уже личное его дело (дело его *дела*), но без них он бы не мог и приступить к общению с античной философией¹. Он же, используя, отстранил и... осудил.

Не уподобляется ли он тому советскому коммунисту и философу-мистику в одном лице, который писал по поводу противоречивых толко-

¹ Ровно столько он все-таки изредка признает: «Разумеется, без этого — филологического и исторического — многознания и говорить-то не о чем» (с. 402), т. е. попросту бьет в собственные ворота или, по крайней мере, значительно умеряет свой антиисторико-филологический пафос. Но подобные признания тонут в массе как заслуженных, так и совершенно беспочвенных иронических выпадов и колкостей в адрес филологии.

ваний Гераклита: «Филологи-классики ищут смысловое содержание терминов за пределами философской теории, ограничиваясь сферой лингвистики. Иначе говоря, происходит подмена мышления философа мышлением филолога или лингвиста. Между тем философское учение по своему содержанию относительно независимо от языка и нуждается в первую очередь в философском осмыслении» (Ф. Х. Кессиди. Гераклит. М., 1982. С. 9)? Такая точка зрения предполагает, что учение философа существует для нас не только и не столько в виде дошедших текстов, сколько само по себе, без какого-либо языкового воплощения, или безразлично, в каком именно. Однако, если так, если отождествлять это учение с его рецепциями философами во все последующие века, как это делает Ахутин («персонаж философии по имени Гераклит»), то наше знание последних, равно как наше и их знание Гераклита, ведь тоже покоится не на общении с их душами или душою самого философа, а на знакомстве с их текстами или тем, что от этих текстов осталось. Наше кажущееся «знание» учения сводится в конечном счете к непрерывному (историческому) накоплению самых разных противоречивых философских рецепций (от Платона до: Гегеля, Ницше, Хайдеггера, Боллака; Лассалья, Маркса, Ленина, Акселоса, Кессиди; Шлейермахера, Целлера, Рейнхардта, Кэрка) и порождению некоего многослойного ходячего и внутренне крайне непоследовательного образа-конгломерата гениального Темного философа, открывателя Логоса, изобретателя диалектики, «плачущего» о том, что «все течет»... Если философу нужна лишь печка, пусть многослойная и непоследовательная, от которой выплясывать свои собственные антраша, лишь бы вписывалась в его музыку, зачем выдавать ее за историческую личность? А если она для него ступенька Иаковлевой лестницы, ведущей горе, неплохо бы позаботиться о ее прочности, о ее «всамделищности». То бишь об истине.

Последнее. А. Ахутин сваливает в кучу как минимум три разных филологии: ту, которая собирает по крохам, издает и переводит обломки философских текстов (чем занимаюсь я); ту, которая эти тексты изучает, комментирует и трактует, причем не только в философском ключе (этим я тоже занят с некоторых пор); и «традиционную» историю философии, которая пользуется этими текстами и комментариями, чтобы отследить и воссоздать развитие философий прошлого. При этом он считает, что филологами и первой, и второй, и третьей филологии могут быть только философы — другие пусть ищут себе иное занятие (см. прим. на с. 71 его книги). Но, помилуйте, разве историк земледелия должен быть земледельцем, историк спорта — спортсменом, историк астрономии — астрономом, историк проституции — проституткой? Нет, историк должен быть в первую очередь историографом, досконально знать источники и уметь ими пользоваться.

«История философии: архив недо-разумений или общение в любомудрии?» — спрашивает А. Ахутин (с. 81). Мой ответ: хранилище как

разумений, так и недоразумений, без доступа к которому никакое *реальное, не иллюзорное* общение в любомудрии между философом современным и его древним коллегой просто *немыслимо*. Особенно в отсутствии полных текстов или, на худой конец, исчерпывающих и тщательно выверенных изданий фрагментов и свидетельств. Это, при всей их гениальности, относится и к Гегелю, и к Хайдеггеру, и к Ахутину.